

С.А. Маретина

## МЫ ДОЖИЛИ ДО ПОБЕДЫ



*Соня Болдырева — школьница.  
Награждена медалью «За  
оборону Ленинграда».*

Сейчас, когда с начала войны прошло более полувека — целая жизнь! — трудно, просто невозможно всем своим существом снова почувствовать те страшные дни, — неужели это действительно я прошла через голод, темноту, холод, гибель близких, ежеминутную смертельную угрозу — через все то, что теперь привычно называется «блокада». Но ведь блокада — это и продолжавшаяся жизнь, учеба в школе, общение с родными и подругами, это свои маленькие радости и печали — наряду с тем огромным, что происходило вокруг. Мне трудно ощутить себя той блокадной девчонкой, но то, что я помню, попробую изложить.

Лето сорок первого начиналось для меня радостно и благополучно. Уже не первый год мы снимали дачу на станции Карташевская по Варшавской дороге, в просторном литфондовском доме. Здесь все было знакомо и мило — и чудесные грибные леса, и большой сад с крокетной площадкой и фруктовыми деревьями, и подружки, с которыми мы встречались каждое лето...

И вдруг — сокрушительное известие: война! По детскому легкомыслию — мне еще не исполнилось и двенадцати лет, — сначала оно воспринялось, скорее, с любопытством: ведь недавняя финская кампания непосредственно нас не задела, так что слово «война» не казалось слишком грозным. Видимо, и взрослые не все предвидели: помню, как папа, приехавший к нам в тот же день, обсуждал с бабушкой вопрос о том, что нам следовало бы пожить на даче — вдруг Ленинград будут бомбить, а здесь, в глуши, спокойнее.

Но планы быстро изменились: скоро приехала мама, которая в это время была с артистической бригадой на юге, в Дагестане, и, возвращаясь, первая из нас столкнулась с картинами войны — разбомбленными эшелонами, ранеными, разлученными семьями. В это тяжкое

время надо всем быть вместе — и нас с бабушкой быстро вывезли обратно в город. И вовремя: когда на другой день папа отправился на дачу, чтобы привезти вещи (в том числе и продукты, которые брали на лето), оказалось уже поздно: поезда не ходили. А как пригодились бы нам те несколько килограммов крупы и масла, которые так и остались в Карташевке! Кстати, так и не успел выехать из Карташевки привязанный к тяжело больной матери предвоенный кумир ленинградской оперной публики, замечательный певец Н.К. Печковский.

Город встретил нас необычным лицом: заклеенные крест-накрест окна, серебристые стратостаты, какой-то иной, чем прежде, настрой... Маму отправили на оборонные работы на Оредеж (потом в их окопы прыгнули немецкие парашютисты, а строившие их артисты несколько дней и ночей пробирались лесами до города). Дни стояли жаркие, ребята проводили их на дворе. Но с каждым днем ряды наши редели. Началась эвакуация, мои подружки стали разъезжаться. Но пока еще было ожидание, тревога — и только. А начиная с сентября жизнь стала круто меняться. Даже трудно себе представить — теплый, еще сытый август, и уже первые голодные смерти в ноябре.

Запомнилась первая бомбежка в сентябре сорок первого. Сколько их было потом! — к ним привыкли, перестали бояться. А сначала было жутко: толпа народа в нашем подвале, тяжелые, еще непривычные и пугающие удары, отвратительный свист бомб. Потом говорили, что раз услышал этот свист — значит, бомба уже пролетела, опасность позади.

И началось: каждый вечер в одно и то же время — налеты. Немецкая педантичность! Все уже знали, когда начнется налет, и спускались в бомбоубежище, пробегая под ослепительными разрывами фугасок и воем зажигалок узкое пространство от парадной до подвала. Там регулярно встречались все оставшиеся, еще не эвакуированные жильцы дома — до войны мы мало знали друг друга, а тут все перезнакомились, приходили с одеялами и подушками, укладывали детей, вполголоса разговаривали, гадали, где упала бомба...

Довольно скоро, когда бомбежки стали обычными, когда голод и холод выработали равнодушие к ним, в бомбоубежище перестали ходить, разве что тревога застанет на улице, так дежурные загонят под землю. Но надолго сохранилось чувство близости, братства у тех, кто вместе встречал первые налеты. Эта теплота осталась и в послевоенные годы. Правда, тех, кто выжил в Ленинграде или вернулся из эвакуации, остались единицы.

С осени в конце октября, начались занятия в школе. Моя старая школа на Социалистической улице! Ее уже окончили мои сыновья. Я

с трудом могу сказать, сколько времени продолжались уроки в самой школе, мне больше помнятся занятия, перенесенные из ее замерзших классов в маленькую комнату на первом этаже нашей парадной — ее хозяева уехали из Ленинграда, а их комнату использовали как класс. Комната небольшая, но и учеников было мало, и становилось их с каждым днем все меньше; но учителя, пока могли, проводили занятия. Помню последний урок — когда пришли мы вдвоем, с моей приятельницей из нашего же дома: больше занятий не было до лета сорок второго.

А жизнь становилась все труднее. Помню мучительное ощущение холода — была еще осень, не началась печально знаменитая зима сорок первого, но уже до боли мерзли ноги: ведь тогда не носили теплых сапог, а шерстяных носков и полуботинок было мало. С тех пор остались следы на всю жизнь — даже при слабом замерзании краснеют и болят руки и ноги. Становилось все хуже с едой. Был период, когда мы прикрепляли карточки в ресторане «Националь» (на Невском, у Московского вокзала), — в начале войны так поступали многие. Это был первый ресторан, в котором я была, зал выглядел торжественно, но на нарядной посуде подавали крошечные порции, которые не снимали ощущения голода. Это ощущение будет длиться еще долгие месяцы...

Продолжались бомбежки и обстрелы, но они как-то стерлись: ведь неумолимо надвигалась, и надвигалась очень быстро, более страшная опасность — голод. Нормы становились все меньше, теперь я понимаю, как же стремительно шло их уменьшение, если уже к концу ноября они достигли своего предела, печально памятных ста двадцати пяти грамм! Давно было съедено все, что можно было найти в уголках буфета. Пытались менять вещи на продукты, благо Кузнечный рынок был рядом. Потом этот рынок вошел в нашу жизнь надолго.

Особенно плохо было отцу. Мужчины стали умирать раньше, а папа был к тому же очень высокий — ростом почти два метра, да и за плечами у него были нелегкие испытания: пять лет Соловков, вместе с другими университетскими учеными... Он страдал в тяжелой форме расширением вен, и сердце не было готово к таким лишениям. Отец, Александр Васильевич Болдырев, был доцентом кафедры античной филологии Ленинградского университета. Во время войны он стал начальником пожарной команды в университете, и, несмотря на холод и голод, на то, что транспорт перестал ходить, каждый день отправлялся пешком в университет — от Пяти Углов, через Дворцовый мост. Хотя мама и бабушка старались как-то его подкормить, выменяв крохи на рынке, он стал таять на глазах. Помню высокую его фигуру, на кото-

рой висела одежда, худое, какое-то заострившееся лицо. Я по возрасту еще полностью не сознавала надвигавшейся опасности, но старшие прекрасно видели все. Но что было делать?

И вдруг — проблеск надежды: на Литейном открыли стационар, чтобы поддержать силы умирающих от голода ученых. Отцу выделили место. Ходил он уже с большим трудом, его вывели под руки, я провожала его до улицы. Мама отправилась с ним. Вернулась воодушевленная, полная надежд: ему дали глоток вина, покормили, он уснул. А наутро он не проснулся: дистрофия третьей степени, ничто уже не могло его спасти. Отец умер 25 декабря, ему было сорок пять лет. А в этот день была первая прибавка по карточкам — правда, только на бумаге; очень редко выдавали что-нибудь, кроме хлеба, в эти страшные зимние месяцы, многие талоны так и остались невырезанными.

Страшные десять дней — от 25 декабря до 5 января. Мама решила любой ценой похоронить отца, чтобы у него была своя могила. А любой ценой — это значило ценой хлеба. Не знаю, как ей удалось по крохе, отрывая от своей и бабушкиной порции (меня берегли), что-то выменивая, набрать тот кусок, за который наш дворник — кстати, очень славный человек, Иван Егорович, который после войны много лет приходил нас проводить, — помог нам свезти папу на Волковское кладбище и похоронить его. Как долог казался путь до кладбища! Теперь-то оно, оказывается, в центре, и совсем недалеко от нас. Но тогда мы шли несколько часов. Кроме нас с мамой и Ивана Егоровича, папу провожал его племянник А.Н. Болдырев (востоковед-иранист) со своей матерью. Мой двоюродный брат еле тянул ноги, а его мама три месяца спустя тоже скончалась от голода. Кажется, тогда впервые я увидела по пути на кладбище страшные штабеля мертвых тел — у Крестовоздвиженской церкви на Лиговском проспекте. Туда свозили умерших от голода и потом хоронили в братских могилах.

А дальше начинается казавшаяся бесконечной страшная пора тьмы, голода и холода. Но раньше — один маленький штрих, который тогда прошел малозамеченным, но теперь кажется мне замечательным. В это тяжкое время, когда жизнь замерла, словно кончаясь, вдруг пришли из школы — звать на новогодний праздник. Небольшое число оставшихся учителей нашли в себе силы, чтобы хоть как-то порадовать своих ребят. Я не пошла в школу — еще лежал непохороненным отец, но знаю, что детям даже приготовили подарки — что-то из еды, что могло быть дорожке тогда?

Итак, блокадная зима в нашем осиротевшем доме. Разъехались последние родные. В феврале через Ладогу эвакуировался папин брат и

сестра с дочерью, которые жили в одном с нами доме. Дядя умер по дороге от голодной дизентерии, а с сестрой мы встретились только через двадцать лет.

Мы собирались уехать с университетом, но университет эвакуировался уже после смерти отца, и мы остались в Ленинграде. Сложился свой особый блокадный быт. Еще раньше, когда начались бомбежки, жильцы верхних этажей спускались вниз — там считалось менее опасным. И у нас, на втором этаже, бывали соседи по лестнице. Помню, как одна старая женщина очень долго ночевала у нас. Приходили со своими кусочками хлеба, грели воду, вместе пили чай.

У нас была двухкомнатная старая квартира. Жизнь сосредоточилась в одной комнате — топить всю квартиру было невозможно. Сначала где-то покупали отдельные поленья, иногда куски бревен; помню ужасный толстый чурбан, который мы с бабушкой пилили тупой двуручной пилой несколько дней. Затем жгли то, что было в доме. В комнате, в центре, была поставлена чугунная печурка — буржуйка, которая, оказывается, хранилась где-то в дровяном сарае еще с гражданской войны. От нее по комнате шла длинная труба, которая выходила в печной дымоход. Позже кто-то сделал нам простую жестяную буржуйку, которую можно было топить просто бумагой. В то время у бабушки были приступы печени, нужны были грелки. Вся жизнь сосредоточивалась вокруг буржуйки. Как же было холодно в доме! — четыре, пять градусов... До войны наши комнаты были обставлены по старинному уютно, теперь же стены были голые — картины, зеркала, безделушки были убраны внутрь диванов от бомбежек, окна почти не пропускали света: вместо выбитых стекол была набита фанера, которая еще долго оставалась там. Вторая наша комната была наглухо закрыта, в кухне царил мороз.

Вся жизнь тогда проходила в комнате. Выходили на улицу редко — только чтобы попытаться что-то выменять (это делали старшие), достать воды (напротив, в бывшей прачечной был кран, который иногда работал; или брали воду из Фонтанки, или просто топили снег). Конечно, еще стояли в очередях за хлебом. Ох, эти бесконечные очереди, в которых стояли часами, меняясь, отпуская друг друга домой погреться! Продолжались они и ночами — утром каждый занимал свое место. И волнение: привезут хлеб или нет? Бывало и так...

Больше всех двигалась мама. По профессии пианистка, она с бригадами артистов даже в самое страшное время ездила на концерты в госпитали и военные части, на такие близкие передовые позиции. Мы ждали ее со страхом и надеждой. После концертов артистам обычно

давали тарелку жидкого супа, а если был кусочек хлеба, мама все несла домой. Занималась она и с девушками из МПВО, ходила к ним на Васильевский остров через город. Помню ее рассказы об этих девушках, которые исполняли тяжелейшую мужскую работу — разбирали дома после бомбежек, откапывали засыпанных и еще находили в себе силы петь в хоре.

Длинные холодные, темные дни и вечера. И главное занятие — чтение. Сколько было перечитано за это время! У нас дома была неплохая библиотека, многое, конечно, погибло, было сожжено, но читать было что. А с весны начался бурный обмен книгами для чтения между ребятами. Но это — позже.

А пока, зимой сорок второго, было проблемой добыть хоть какой-то свет, чтобы долгие мучительные вечера можно было скоротать за чтением. Опять — рынок: на какие-то вещи из прежней жизни мама и бабушка выменивали что придется — самодельную свечку, стакан керосина. Самое привычное — маленькая, мигающая в холодном воздухе (каждое дыхание вызывало ток воздуха) коптилка, рядом с буржуйкой. Вокруг — все домочадцы (кроме нас еще моя тетка с маленькой двоюродной сестренкой и кто-нибудь из соседей). И чтение — до самого сна. Наверное, с тех пор у меня безнадежно испорчены глаза; и от рождения не очень хорошие, они не могли выдержать испытания коптилкой. Читали каждый свое и читали вслух. Читали классику (тогда я узнала «Войну и мир», романы Гончарова и Тургенева и многое другое), читали приключенческие и даже рыцарские романы, читали — часто вслух — стихи (помню чтение стихов Гюго на французском языке). И, конечно, читали то, что издавалось в блокированном городе, — «Цитадель» Кронина, «Красное и черное» Стендаля и еще многие, многие книги. Что бы мы делали без чтения? Именно оно спасало от тоски, от постоянных мыслей о хлебе, о том, что еще ждет нас.

Однообразие как бы застывшей, затемненной жизни иногда нарушалось появлением других людей. К нам заезжал один дальний знакомый или родственник — капитан, воевавший под Ленинградом, приезжал прямо из окопов. Перед войной мы были мало знакомы и после войны тоже потеряли друг друга из вида. Но во время блокады наша семья оказалась для него единственной близкой в городе, и когда он получал увольнительные, бывал у нас. На фронте тоже было голодно, он старался хоть что-нибудь привезти, что-то рассказывал. Спали все в той же комнате, и я помню, как я иногда пугалась, когда ночью просыпалась от его крика — команд, возгласов. Он и во сне продолжал воевать.

Несколько раз приезжал к нам — пожалуй, это было несколько позже — с ближних позиций бабушкин племянник Петя, которого она никогда не видела (он родился в далекой Сибири, где два бабушкиных брата были лесничими), но сразу полюбила его как родного. Он был рядовой солдат, скромный, хозяйственный, — как только появлялся в нашем доме, где не было мужской руки, сразу что-то подправлял, приколачивал, чинил. Он рассказывал, что его несколько раз хотели отправить на лейтенантские курсы, но он не мог согласиться: лейтенанты гибнут первыми, а он очень хотел выжить, должен был выжить, он был единственной опорой многодетной семьи. Вскоре он погиб в бою.

Запомнился еще один визит. Постучали — это было в самое темное, страшное время, — я открыла дверь (тогда открывали всем — не приходило в голову бояться этого), вошел человек, немолодой, заросший, укутанный во что-то. Прошел в комнату, попросил о чем-то — поесть или попить. Он казался не совсем в себе. Его поили чаем, а он вдруг стал читать греческие стихи — на древнегреческом. Потом ушел — насовсем. Кто он был? Думаю, он не случайно пришел в нашу квартиру, — ведь отец занимался Грецией, у него немало переводов с греческого. До сих пор живет в душе этот грустный эпизод.

Казалось, вечно будет зима. Жизнь затихла, замерла в темных, замороженных комнатах. Мы даже не знали, сколько народу осталось во всем доме, кроме нашей лестницы. Но всему приходит конец. Для меня переход к новому этапу блокадной жизни, — уже связанному с другими людьми, с внешними впечатлениями, — связан с тем прекрасным днем или днями в конце марта, когда оставшиеся в живых ленинградцы вышли на улицу, чтобы расчистить город, свои дворы. И у нас во дворе собрались все, кто выжил. Не помню, чтобы люди поразили меня своим видом, — наверное, потому, что мы уже привыкли к дистрофикам. Помню другое: то радостное, товарищеское единение в общем труде, — думаю, что такого чувства больше я никогда не испытывала. Вышли все, кто мог шевелить ногами, хотя никого не принуждали.

С тех пор жизнь в значительной степени перенеслась наружу, прежде всего, во двор. Засидевшиеся в холодных, продымленных комнатах ребята жадно тянулись к воздуху и солнцу. У нас всегда был хороший двор с зеленым садиком и даже с фонтаном. Но во время войны двор действительно стал нашим вторым домом. Прежде всего, на заднем дворе, где до войны были по бокам дровяные сараи, которые сторели в первые месяцы блокады, все жильцы стали дружно устраивать огороды. И у нас были свои грядки. Что мы там сажали — не очень помню, но знаю, что выросла у нас в основном мокрица. Но какой же вкусной

была она! Я всегда с благодарностью вспоминаю эту мелколистную сорную травку, даже когда теперь выпалываю ее на даче. С нею варили суп, ее прибавляли в скудную пригоршню пшена, ее жевали в сыром виде. Теперь, в длинные летние дни, все жильцы, особенно по вечерам, собирались у своих грядок и копались в них, щедро делясь небольшим опытом огородничества. Где тогда только не было огородов! У наших родственников были грядки в Ботаническом саду. Позже маме дали участок на станции Бернгардовка, на той единственной железнодорожной ветке, по которой ходили поезда. Мы там были дважды (видимо, это было лето сорок третьего) — когда что-то сажали и когда приехали за урожаем — той же мокрицей.

Весной или в начале лета открылась школа. Собрали оставшихся детей, начались занятия. Состав нашего класса был очень пестрым: кое-кто был из наших ребят, были и переведенные из других школ, в том числе и из тех, которые работали и в блокадную зиму. В школе организовали школьное питание — как-то поначалу эти завтраки вспоминаются больше, чем уроки. Голод-то по-прежнему не отступал. Прозанимавшись с нами месяца два, умерла от дистрофии старенькая учительница литературы Ольга Владимировна. Запомнилось, как один мальчик, с которым я училась еще до войны, с забавной фамилией Головешко, после еды вылизывал тарелки своих соседей (и так выскобленные дочиста). Вскоре изголодавшийся мальчик умер от дистрофии.

Лето прервало начавшиеся занятия. Ребята устраивались кто как — кто на площадке при школе, кто вокруг дома. А я оказалась во Дворце пионеров — с ним мои следующие военные годы были тесно связаны. Еще перед войной я занималась там музыкой, а теперь, после блокадной зимы, оказалось, что во Дворце собирают бывших учеников (и, конечно, берут новых), что там будут идти занятия, а летом ребята будут весь день проводить на площадке (туда нужно будет прикреплять свою продовольственную карточку) и только вечером возвращаться домой.

Меня несколько пугало такое пребывание вне дома — я была очень домашним существом. Но мама и бабушка решили, что там, может быть, нас немного подкормят, да и им хотелось, чтобы я не забывала рояль. Я стала ходить во Дворец, так продолжалось и дальше, и о Победе я узнала во Дворце.

Начался еще один этап жизни. Каждое утро мы — большая группа ребят разных возрастов — собирались в знакомых, еще в детстве поразивших воображение дворцовых помещениях: в нашем распоряжении были боковые флигели (а позже там был госпиталь) и главное здание.

Все, как прежде, — и все иначе. Раньше я приходила туда два-три раза в неделю на час, теперь Дворец стал моим вторым домом. И опять — естественно для блокадной памяти — первое воспоминание о еде. До войны, когда меня водили на уроки, обязательно заходили в буфет — это было непереносимое удовольствие. Там пекли знаменитые пончики, горячие, пышные, обсыпанные сахарной пудрой, готовили их, кстати сказать, на хорошем масле, — уже в коридоре стоял удивительно вкусный дух, который дразнил аппетит вполне благополучных довоенных ребятишек. И вот — первый день на площадке, зовут к завтраку. Знакомая обстановка, на фарфоровой посуде подают пончики — сжалось сердце, а пончики оказались шротовыми...

После замкнутой зимней жизни я оказалась в большом ребячем коллективе. Нас не выпускали за пределы двора и сада Дворца — дети были разного возраста, а в городе опасность подстерегала постоянно — шли обстрелы, возобновились бомбежки. Администрация отвечала за своих питомцев. Постепенно наладился ритм жизни. После долгой молчаливой зимы не могли наговориться. Девочки рассказывали друг другу то, что прочитали, особенно за зимние месяцы. Я впервые именно в таком устном пересказе узнала «Графа Монте-Кристо» и другие увлекательные истории. Учились вязать, пели хором и занимались в своих кружках. Видимо, занимались не очень усидчиво — ведь мы целый день были во Дворце, учить заданное было трудно, инструментов на всех не хватало, а домой мы попадали только вечером. Но постепенно занятия приобретали организованный характер, мы готовились к концертам, олимпиадам. Наши ребячьи бригады выступали в госпиталях, детских домах, даже как-то довелось выступать (играя в четыре руки) по радио. Здесь же с нами рядом занималась балетная группа Обранта, снискавшая широкую известность в те годы. Эти девочки и мальчики были постарше, более уверенные в себе, — артисты! За нашу концертную деятельность я и была удостоена дорогой для всех нас награды — медали «За оборону Ленинграда» (слова замечательного поэта-блокадника Юрия Воронова: «Нам в сорок третьем выдали медали и только в сорок пятом — паспорта» — точно относятся к моему возрасту).

Так и повелось: летом — Дворец пионеров, остальные месяцы — школа, и во Дворце — только занятия два раза в неделю. Блокада продолжалась, было по-прежнему голодно, кругом гибли люди, не было самого необходимого; вспоминаю, как праздник, когда в школе мне выдали ватник, — аккуратный серый ватничек, к которому бабушка пришила меховой воротничок. Мне он казался верхом элегантности, и действительно был очень удобной, теплой и легкой одеждой. Жизнь

шла своим чередом, были в ней свои маленькие радости и огорчения. Как и до войны, хотелось получить отметку получше, были переживания, как пройдет концерт, завязывались новые дружеские отношения, выделялись любимые и нелюбимые учителя. Это уживалось с тем, что урок прерывался глухими ударами бомб — в сорок втором бомбили жестоко, — урок переносился в бомбоубежище. Помню одну бомбежку. Фугаски падали вокруг, казалось, что ничто не могло уцелеть, мы вырывались из убежища и толклись на пороге, за который нас не пускали учителя. У каждого был страх за своих: школа-то цела, а как дом? У меня дома были бабушка и маленькая двоюродная сестренка, они в убежище не ходили и просто стояли в прихожей, там не было окон, считалось безопасней. После особенно близкого разрыва я не выдержала — бросилась бежать к дому: по Социалистической улице, поворот на Загородный — и мой второй дом. Как свистели над головой бомбы! Налет был одним из самых сильных, нацеленным на наш район. Вбегаю в ворота — слава Богу, дом стоит! — но что-то не то. Сообщаю, что в доме ни одного стекла — попадание было рядом, старый дом все-таки устоял, а окна вылетели все. Бегу домой — в темной передней у стены прижались бабушка и внучка... Пронесло!

Из дома в бомбоубежище уже давно не ходили (считалось, что самое страшное — быть засыпанным), но если налет или артобстрел заставал на улице, приходилось прятаться. Сколько их было, этих подвальных помещений, ставших бомбоубежищами! Остро запомнился очень характерный запах, который там царил, запах свежеструганых бревен, сырости, земли. Как-то, пару лет назад, вдруг в каком-то помещении пахло этим духом, и сразу за ним встала война.

Однажды в сорок втором нас школой повезли на несколько дней в колхоз — убирали, кажется, кормовую свеклу. Чтобы я не потеряла карточные талоны на еду (без них никуда нельзя было уехать — по ним кормили), мне несколько талончиков положили в крошечную старинную сумочку, которую я надела на шею, — ведь руки для работы должны были быть свободными. Дни на поле вспоминаются туманно — все затмило одно: цепочка сорвалась, я потеряла кошелечек с карточками. Молчала, покоровившись судьбе, — ведь ни у кого не было лишней порции. Хорошо, что девочки распознали мою беду, рассказали учителям, те сумели меня накормить.

Мы недолго проучились в моей старой школе. Подошла школьная реформа — разделили мальчиков и девочек, наша школа стала мужской, а девочек перевели в 319-ю школу у Пяти Углов — теперь в этом здании другое учреждение. И пришлось привыкать к новому помеще-

нию, новым учителям, новым одноклассникам. Эту школу я и закончила. К сожалению, не получилось у нас дружного коллектива, после выпуска мы ни разу не встречались всем классом. В чем тут дело? Наверное, в разных причинах. И в том, что идея разделения девочек и мальчиков не была верной: девчоночий коллектив — не чета смешанному. И в том, что последние классы пришлось на первые послевоенные годы, когда ребята возвращались из эвакуации, переселялись внутри города, выезжали в область. В результате состав класса был текуч, пришедшие из разных школ девочки так и не слились в одно целое.

Границы жизни постепенно расширялись, этому не могли помешать постоянные налеты и обстрелы. Мама начала работать в блокадном Театре оперы и балета им. С.М. Кирова — оставшиеся в городе артисты образовали свой творческий коллектив, который ставил целые оперные и балетные спектакли. Здесь я слушала «Пиковую даму» и «Евгения Онегина», «Кармен», смотрела «Тщетную предосторожность». — Нет, раньше были походы в оперетту — наш славный блокадный театр. Из-за войны мы стали посещать оперетту значительно раньше, чем это было бы позволено детям в мирное время. Помню один из первых коллективных (со школой) походов — кажется, это был спектакль «Раскинулось море широко». Он шел в Пушкинском театре, там не раздевались. Когда в ложе надышали набившиеся в большом количестве школьники, пальто сложили в аванложах на диванах.

Если уж вспоминать о блокадном театре, то нельзя не назвать Горьковский. Какие чудесные спектакли шли на его сцене, с какими артистами! Помню бесподобную «Дорогу в Нью-Йорк» с Полицеймако и Казико — я несколько раз ходила на нее и никак не могла досмотреть до конца — мешали тревоги. То же было и с популярной кинокартиной «Джордж из Динки джаза», мне удалось его увидеть целиком на третий или четвертый раз. Как помогали жить и радоваться — а без радости жить нельзя — эти незамысловатые, чистые, веселые пьесы и фильмы!

Сейчас, глядя назад, думаешь о том, какой доброй, при всей суровости быта, была атмосфера в городе. Я не помню времени, когда так ощущалось бы единение людей и местных властей, тех работников райисполкомов и райкомов, которые и до, и после войны существовали совсем в стороне от простых смертных. А здесь вспоминается такая картина: самое суровое время (видимо, начало сорок второго). Длинная, безнадежная очередь за хлебом — хлеб не привезли, предстоит продолжить ожидание утром. Молчаливые, измученные женщины и

дети. К булочной у Пяти Углов подъезжает машина, выходит немолодой, несколько опухший человек в белых бурках. Он подходит к очереди и начинает разговаривать с женщинами, объясняя им, что хлеб будет, но придется подождать — доставка задерживается. Его дружеское участие вызывает оживление в очереди, лица светлеют. Как важно доброе слово. Я даже помню фамилию этого человека — Мартынов: кажется, это был председатель Фрунзенского райисполкома.

Я уже говорила о том, как сблизилась война соседей. Тогда в своем доме мы все знали друг друга, — конечно, и жильцов осталось немного, но главное было какое-то взаимное участие, вызванное общей бедой. Сейчас меня удивляет и то, как спокойно можно было ходить по улицам. Был комендантский час, хождение прекращалось — не помню точно, в десять или одиннадцать часов. Но ведь осенние и зимние вечера беспросветно темны уже с пяти-шести часов. Вплоть до снятия блокады строго соблюдалось затемнение, так что в городе не было ни одного огня. Только на груди людей зеленовато отсвечивали круглые «светлячки», чтобы в темноте не налететь друг на друга. И вот в этой кромешной тьме, о которой сейчас и взрослому человеку страшно подумать, спокойно ходили тринадцати-четырнадцатилетние девчонки, и это не вызывало беспокойства дома. И дело не только в том, что по сравнению с окружавшими нас опасностями это хождение во тьме казалось не главной; но и город был тогда действительно спокойным, не было разговоров о хулиганстве, разбойничьих нападениях. К тому же всю войну — да и немалое число лет после войны — сохранялся добрый обычай дежурства у ворот, так что вы шли по живой улице, и в случае чего легко было поднять тревогу.

Во время блокады, как всегда в жизни, рядом шли свои радости и беды (только, наверное, последних было намного больше). Каким счастьем было, когда в доме зажглось электричество! Это было на рубеже сорок третьего, сначала существовал лимит на свет. Мы ждали его долго, обещали, что скоро дадут свет, придешь из школы, первый вопрос: «Горит?», — оказывается, еще нет. Наконец загорелись лампы. Это после той кромешной тьмы. Жизнь сразу стала легче. А одновременно — какие страшные обстрелы обрушивались на город — и в сорок втором, и уже после прорыва блокады в сорок третьем! Когда снаряд врезался в толпу людей на остановке на Невском проспекте, у Садовой, я была во Дворце. Это было совсем рядом, сразу стало известно о трагедии — погибли десятки людей, некоторые ребята бегали смотреть; я не могла. Во время другого жестокого обстрела на улице Ракова, тоже в гуще ожидающих транспорт людей, погибла наша родственница — это был



*Софья Александровна Маретина, главный научный сотрудник МАЭ, доктор исторических наук, один из ведущих индологов в нашей стране. Профессор кафедры этнографии Санкт-Петербургского государственного университета.*

солнечный день сорок третьего. Муж пытался найти ее останки, это оказалось невозможным — снаряд превратил людей в кашу.

После прорыва блокады с едой стало легче, хотя голодные смерти продолжались. Стали умирать более выносливые, чем мужчины, женщины. Но все-таки стало сытнее. С повышением продуктивных норм появился новый бич — крысы. Наша квартира расположена над магазином, в самые голодные месяцы там было пусто, и вся живность ушла или просто погибла. Но теперь встанешь утром, выйдешь на кухню, а там на столе сидит крыса, которая, несмотря на мой крик, удаляется неспешно, волоча за собой длинный мерзкий хвост. Надо было что-то предпринимать, нужен был кот. Мы так отвыкли за блокаду от всего живого, что кошка казалась каким-то чудом. Поначалу коты были нарасхват. У наших знакомых в нашем доме появились котята, и нам предложили выбрать одного. Я влюбилась в большеголового рыжего котенка, но, когда пришла за ним, — оказалось, мне оставили серого. «Ведь серый красивее!» — сказал удивленный моим огорчением хозяин. Что же — и серый кот был настоящим счастьем.

Известия с фронтов были все более обнадеживающими, жизнь в городе становилась все полнее: и в мою жизнь все больше входили концерты — эти прекрасные сборные эстрадные концерты (всех артистов мы знали наперечет) — и кино. К концу войны мы с мамой несколько раз ездили на острова и там собирали грибы. Сейчас трудно в это поверить, но тогда там было пусто и первозданно и удивительно хорошо.

Великая дата для всех, переживших блокаду, — конец января сорок четвертого. Наверное, нет человека, который бы не помнил этот постоянный, длившийся несколько дней гул — звуковой фон от непрекращающегося грохота орудий. Мы за годы войны привыкли определять — кто стреляет, где стреляет, куда стреляет. Здесь канонада была могучей, но как-то все чутьем воспринимали ее радостно — наши наступают! День за днем продолжался этот дальний рокот, и вот — счастливый день, исторический приказ по городу об освобождении таких до боли знакомых с детства мест — Пушкин, Павловск, Гатчина и многие другие. Блокада снята! Это значило — конец обстрелам, которые калечили город еще в январе; конец затемнениям; конец фашистской угрозе! Наверное, никогда не забудется первый ленинградский салют — казалось, весь город высыпал на улицы и пошел на Неву, на Дворцовую площадь. После этого туда шли постоянно — при всех победных салютах, которые бывали все чаще. Я стояла в тесной толпе, люди кричали, смеялись, плакали. С нами была моя семилетняя сестренка — победные залпы вызывали у нее слезы страха — ведь она знала только выстрелы смерти.

После этого так и повелось — все праздничные салюты встречать на Неве. Мы с подружками обязательно отправлялись туда, радовались фейерверку, веселились в толпе на Дворцовой. А там играли оркестры, показывали кино — на здании Морского архива был натянут огромный экран — и, конечно, танцевали. Тогда танцевали везде — и в кинотеатрах перед началом сеансов, и в фойе театров, и на улицах и площадях по торжественным случаям. С тех пор я не могу в день Победы сидеть дома — он для меня на улице, в праздничной толпе, в звуках марширующего по Невскому оркестра.

После снятия блокады все сразу почувствовали себя свободными. Война уверенно катилась к границам, Ленинград наконец-то оказался в тылу. Теперь нам стали доступными не только город, но и пригороды. И как только фронт отошел, уже летом сорок четвертого, мы с подругой отправились в освобожденный Петергоф. Теперь-то я понимаю, какое это было рискованное легкомыслие: везде вдоль дорожек

шли надписи о минах, — о том, что «мин нет», или о том, что «ходить запрещено». Но какая же там была красота! Замечательный ансамбль сильно пострадал: вместо дворца возвышался полуобгоревший остов, в парке на каждом шагу были развалины, многие деревья были срезаны наполовину снарядами. И тем не менее парк сохранял свое величие, море, настоящее море поблескивало на солнце, и главное — мы были совершенно одни. Быть одним в Петергофе — такое сейчас невозможно себе представить. Тогда все это было наше, только наше, и мы как хозяева углублялись во все новые и новые аллеи, босиком ходили по взморью, а потом отправились пешком в Старый Петергоф. Вот где были сплошные надписи о минах, вот где ряды за рядами тянулся обезглавленный лес. Эта поездка запомнилась на всю жизнь: как во всем тогда, в ней были и грусть по погибшему, и неудержимая радость обретенного, радость возвращения к прекрасному.

Рассказывать о блокаде нельзя, не назвав день Победы, хотя пришел он более чем год спустя после окончания ленинградской эпопеи. Этот день зримо приближался, его ждали, знали, что он вот-вот придет, день объявления мира, — но какой он был счастливый, этот миг, когда все узнали — война кончилась. Хотя и очень грустный, — боль от потерь особенно остро давала себя знать в этой атмосфере счастья.

Я узнала о конце войны во Дворце пионеров, сразу же побежала домой. Мама уже отправилась с другими артистами выступать по случаю праздника — тогда, это, наверное, все ленинградцы помнят, на площадях и набережных Невы шли концерты, везде играла музыка. И мы, конечно, пошли на Дворцовую, на Неву — ведь там мы встречали все победные салюты, сюда же пришли в день главной Победы и любовались великолепным фейерверком.

Но, пожалуй, самое сильное воспоминание — это 8 июля сорок пятого, возвращение гвардейских частей в Ленинград. В этот яркий, солнечный день на улицах города было настоящее праздничное ликование — такое, как обычно показывают в кино и какое нечасто бывает в жизни. Этот день забыть нельзя. Войска шли и по нашей улице — Загородному проспекту, мы ждали их в толпе у Пяти Углов, как и все, с охапками цветов, а потом шли следом, по Невскому и дальше. Об этом дне много написано и рассказано, это надо было видеть и ощутить. Казалось, все муки долгих блокадных лет растворились в этом празднике цветов, объятий, слез и улыбок. А ведь военные раны долго еще будут давать о себе знать...